



Жан-Поль

ГРУБИЯНСКИЕ ГОДЫ:
БИОГРАФИЯ

Том II

Жан-Поль

**Грубиянские годы:
биография. Том II**

«Отто Райхль»

1804-1805

УДК 82-3
ББК 84(4)

Жан-Поль

Грубиянские годы: биография. Том II / Жан-Поль — «Отто Райхль», 1804-1805

ISBN 978-3-87667-445-2

Жан-Поль Рихтер (1763–1825), современник И. В. Гёте и признанный классик немецкой литературы, заново открытый в XX веке, рассматривал «Грубиянские годы» «как свое лучшее сочинение, в котором, собственно, и живет: там, мол, для него всё сокровенно и комфортно, как дружественная комната, уютная софа и хорошо знакомое радостное сообщество». Жан-Поль говорил, что персонажи романа, братья-близнецы Вальт и Вульт, – «не что иное, как две противостоящие друг другу, но все же родственные персоны, из соединения коих и состоит он». Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя). По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму. В любом случае не вызывает сомнений близость творчества Жан-Поля к литературному модерну». Настоящее издание снабжено обширными комментариями, базирующимися на немецких академических изданиях, но в большой мере дополненными переводчиком. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 82-3
ББК 84(4)

ISBN 978-3-87667-445-2

© Жан-Поль, 1804-1805

© Отто Райхль, 1804-1805

Содержание

Четвертая книжечка	7
№ 51. Чучело лазурного мельника	7
№ 52. Чучело Мухолова-Тонконоса	14
№ 53. Крестовый камень возле Геффреса под Байрейтом	22
№ 54. Суринамский Эней	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Жан-Поль

Грубиянские годы: биография Том II

Jean Paul
FLEGELJAHRE
Eine Biographie

Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой

© Маттиас Дрегер, Издательство «Райхль», 2017

От переводчика

Ich danke der Berlin Russisch-Gruppe, den Teilnehmern der Deutsch-Russischen Übersetzerwerkstatt in Krasnoyarsk sowie persönlich Gabriele Leupold, Christiane Korner und Kirill Blaschkov für ihre ivertvolle Hilfe.

Я благодарю «Берлинскую русскую группу», участников Немецко-русской переводческой мастерской в Красноярске, а также лично Габриэле Лойпольд, Кристиане Кернер и Кирилла Блажкова за их ценную помощь.

Четвертая книжечка

№ 51. Чучело лазурного мельника Перипетии путешествия – и нотариата

Нотариусу казалось, будто он, как один из проснувшихся Семи спящих отроков, идет по совершенно изменившемуся городу: отчасти потому, что он несколько дней отсутствовал, отчасти же – потому что там успел похозяйничать пожар, пусть и не причинивший вреда. Шагая по улицам города, он все еще оставался в путешествии. Да и народ, вырванный огнем из повседневности, толпами тянулся то туда, то сюда, чтобы увидеть несчастье, которое могло бы случиться. Вальт первым делом отправился к брату, испытывая величайшую потребность невероятно распалить и затем утолить его любопытство. Вульф принял его спокойно, но себе сказал, что брат выглядит разгоряченным и что лицо его пылает из-за недавнего пожара. Нотариус хотел сразу же взвинтить его возбуждение до высшей отметки и там, наверху, успокоить; поэтому он предпослал своему рассказу весьма заманчивые посулы, произнеся: «Брат, я имею сообщить тебе что-то неслыханное, в самом деле неслыханное». – «У меня тоже, – прервал его Вульф, – есть в запасе новые семь чудес света, и я могу тебя удивить. Но сперва первое! Флитте выздоровел! Горожане все еще дивятся и не перестают глазеть на него». – «От ворот Лазаря я уже видел его, стоящего в резонансном окошке», – ответил Вальт, торопясь закрыть эту тему. «Ясное дело, – продолжил Вульф. – Ведь доктор Шляпке – заслуживающий, как мало кто другой, чтобы перед ним сняли шляпу, – вновь поставил его на задние лапы, и теперь завещатель станет наследником себе самому, по праву самого близкого родственника, а ты получишь так же мало, как остальные. Правда, что касается старых врачей, и особенно старейших из них, которые в каждом городе, подобно подлинному совету старейшин, выдают младшему коллеге *декрет о совершеннолети* (*veniam aetatis*), причем не только по достижении им двадцатилетнего возраста, но и потом, во все годы его земной жизни, и тем самым изысканно увязывают смертность жителей с такого рода собственным бессмертием, – что касается того, как они, сказал бы я, выходят из себя, видя, что столь молодой хлыщ вылечил другого, не старше его самого: об этом, ясное дело, мы можем судить лишь поверхностно или вообще никак, пока не будет напечатана и не станет известна одна известная работа Флитте. Дело в том, что эльзасец уже несколько раз перерабатывал свое слабое изъявление благодарности, предназначенное для «Имперского вестника», в котором он (заплатит за это объявление доктор Шляпке) перед всем миром достаточно растроганно благодарит Шляпке и клянется, что никогда не сможет его вознаградить – чувство, вполне соответствующее действительности, поскольку Флитте сам ничего не имеет».

Вальт не мог долее сдерживаться.

– Дражайший брат, – начал он, – поистине, я слушал, скорее, твои мысли, нежели сообщения; тогда как то, что хочу сообщить тебе я... Твое письмо с описанием чудесного сна я действительно, в самом деле, получил; но что с того, если бы дело ограничилось только этим? Письмо сбылось целиком – от точки до точки, от запятой до запятой; ты только послушай!

Теперь он предъявил брату недавние игривые чудеса, в первый раз; потом (из-за сбивчивых волн захлестнувшего всё вокруг потока) – во второй. Нет такого приключения, даже из наихудших, которое ты переживаешь с тем же блаженством, с каким пересказываешь. Да, Вальт едва было не поднял завесу над любящим взглядом *Вины* там, под обрушивающимся вниз водопадом; и сделал бы это, если бы на всем протяжении обратного пути, шагая с *Виной* по одну руку и с Вульфом по другую, не обдумывал (предварительно) самое важное и не вбил

себе в голову сильнейшие аргументы, доказывающие, что он должен полностью замаскировать Вину под генерала и утаить если не факты, то ощущения – как бы ему ни хотелось излить в единственное сердце, которое жизнь открыла для него, оба рукава своего речного потока, разделившегося на любовь и дружбу.

– Приключения, пережитые тобою в связи с моим письмом, – сказал Вульт, – как раз не кажутся мне самым интересным – чуть позже я изложу тебе очень убедительную гипотезу на сей счет, – тогда как обстоятельства твоего рандеву с Якобиной я бы с радостью прояснил для себя.

Вальт в ответ рассказал о ночном визите актрисы – совершенно правдиво, ясно и легко, не забыв упомянуть ни единого ощущения.

– Нет ничего легче, чем объяснить твои приключения, – начал наконец Вульт. – Разве не мог какой-то человек, который знает все обстоятельства, сопровождать тебя по лесам и полям, постоянно крадучись в трех шагах позади или впереди, – играть на флейте – еще до твоего появления называть твое имя в трактирах и гостиницах – заказывать или устраивать маленькие шутки, например, с торговцем лубочными картинками, рисунком-кводлибетом и надписью на нем: «*Quod deus vult est bene factus* (вместо *factum*)», – и так далее? Что же касается письма, то совсем нетрудно написать его от моего имени и в моем стиле, по пути отдать почтальону, в письме напороочествовать обо всем, что сам и собираешься сделать, деньги же закопать за минуту до твоего прихода!

– Невозможно! – воскликнул Вальт. – А как же господин под личиной?

– Личина еще у тебя в кармане? – осведомился Вульт.

Вальт вытащил маску. Вульт прижал ее к своему лицу, сверкнул на брата гневными глазами и дико выкрикнул знакомым голосом господина под личиной: «Ну? Разве это не я? А кто тогда вы?» – «*О* небо, как это?» – возопил испуганный Вальт. Вульт мягким движением приподнял маску, очень весело глянул на брата и сказал: «Не знаю, каковы твои мысли об этом происшествии, сам же полагаю, что как господин под личиной и флейтист, с одной стороны, так я и составитель письма, с другой, – тождественные персоны». – «Мой разум больше не работает», – признался Вальт. «Одним словом, это был я», – заключил Вульт. Однако нотариус всё не решался до конца поверить собственному замешательству. «Наверняка за этим колдовством, – сказал он, – кроется еще что-то удивительное; и почему вообще тебе могло бы понадобиться таким диковинным образом вводить меня в заблуждение?»

Однако Вульт показал, что хотел доставить удовольствие брату и даже больше того – уберечь его от некоторого недовольствия. Он спросил, лукаво подмигнув: мол, разве не в должный момент бросил он маску в комнату – прежде, чем Якобина успела сбросить свою. И под конец высказался напрямую: та клаузула завещания, что наказывает за грехи плоти утратой половины наследства, известна всем, Вальт же, увы, всегда ведет себя как очень невинный человек, однако во время любой военной акции чаще и удачнее всего стреляют именно по белым лошадям, из-за этого цвета невинности, – семь наследников же, будучи умными полководцами, маскируют свой лагерь грязью... «Короче, – заключил он, – как торговцы голубями обманывают покупателей, часто выдавая двух голубок за нормальную супружескую чету голубей: разве не так же могли поступить с тобой и этой актрисой, не отправься я в путешествие по твоим пятам?» Тут нотариус густо покраснел от стыда и гнева, воскликнул: «О, сколь безмерная мерзость!» – прибавил, нашаривая шляпу: «Значит, в таком свете видится тебе бедная девушка? И твой собственный брат в придачу?» – выскочил за порог – бросил, безудержно разрыдавшись: «Доброй ночи; но, клянусь Богом, не знаю, что еще я мог бы на это сказать», – и не оставил брату времени для ответа. Вульт почти что разозлился на непредвиденный братнин гнев.

– Я, я? – повторял на улице глубоко обиженный Вальт. – Я, выходит, мог согрешить в тот день, когда Бог подарил мне самый трогательный за все путешествие вечер и когда благочестивая Вина находилась так близко от меня? – Да упаси Господь!

Однако когда он ступил в свою комнатку, на него снизошло совершенно особое блаженство и поглотило боль: любое новое ощущение на привычном месте становится более живым; Винин добрый взгляд из-под струй водопада теперь золотил, словно утренний свет, жизнь, как целое, – и наделял блеском все росистые цветы в ней. Многое вокруг сделалось для нотариуса как бы заново родным: парк внизу, в аллеях которого он однажды увидел ее, и Рафаэла в доме, ее подруга, были отныне неотделимы от его внутренней жизни. Даже собственный роман «Яичный пунш» он едва узнавал, потому что теперь натыкался в нем на совершенно новые живописные полотна, созданные любящим сердцем, и благодаря им только и осознавал понастоящему нынешний вечер: то, что хотел бы с ним предпринять; никогда еще ни один автор не находил для себя более созвучно настроенного читателя, чем такого, каким сегодня был Вальт. Он тотчас воздвиг для себя изысканный кабинет живописи – для картин, изображающих места, где Вина предположительно могла бы проводить этот вечер: например, в театре, или в садах Лейпцига, или в избранном обществе ценителей музыки. Потом он сел к столу и стал запечатлевать огненными красками, как, скажем, она слушает сегодня «Ифигению в Тавриде» Глюка; потом принялся сочинять блаженные стихи о ней; потом поднес эти бумаги, наполненные райским блаженством, к пламени свечи и сжег всё дотла: потому что не понимал, как он выразился, по какому праву он, не поставив ее в известность, столь многое о ней открывает – ей самой или другим людям.

Улегшись в постель, он позволил себе видеть во сне сны Вины. «Кто мне запретит, – сказал он, – посещать ее сновидения или даже обильно одалживать ей свои —? Разве сон разумнее, чем я? О, ей вполне могло бы в диком безумии сна присниться, что мы оба стоим под водопадом; соединившись, взлетаем в нем ввысь; обнявшись, плывем по его текуче-огненному золоту; и, чтобы умереть, обрушиваемся вместе с ним вниз; и, обретя божественность, безмятежно теперь продолжаем наш путь среди цветов, и она со своей волной сверкает в моей волне, и так, слившись друг с другом, мы впадаем в просторное вышнее синее чистое море, распростертое над грязной землей. О, если бы ты захотела видеть такие сны, Вина!» Потом он посмотрел на подушку очень ясно и пристально – потому что по ночам, в дикарском преддверии сна, перед душой все бледные образы обретают краски молодой жизни и открывают сверкающие глаза – милый, кроткий глаз Вины открылся перед ним и, подобно луне, днем истончающейся до едва заметного облачка, властно засиял на ночном небе; и Вальт погрузился в этот милый глаз, как верующий погружается в Око, в виде которого принято изображать Господа. Как легок и истончен любой взгляд, пусть и оставшийся в памяти! Его навряд ли можно сравнить даже с альпийской розочкой, которую человек приносит вниз с высочайшей вершины своей жизни. И все же из всей массы материальных и небесных сфер человек предпочитает держаться за эту малую, прикрытую глазным веком: за взгляд, испустивший дух, едва он успел возникнуть; и на таком небесном Ничто прочно покоится человеческий парадиз со всеми деревьями! Таков дух; ибо, поскольку его миром является незримость, Ничто легко становится для него зримостью!

Наутро вокруг нотариуса были разлиты солнечный свет и блаженство. Все цветы, из которых могли бы родиться яблоки раздора, облетели. Утро дарит нам золото, причем чистейшее: солнце очищает замутненный шлаками нрав; темный излишек, особенно ненависть, исчезает. Вальт оглянулся в утреннем свете, и ему показалось, будто некая рука, выпроставшись из облаков, вознесла его – через все наслоившиеся друг на друга облачные слои жизни – в синеву... Кто любит, прощает остальным, по крайней мере, упомянутый излишек; нотариус спросил себя: как он мог вчера, аккуратно в праздник возвращения, так рассердиться на бедного брата.

«Да, именно бедного, – продолжил он, – ведь у брата наверняка нет любимой, чей любящий взгляд пребывал бы, как фокус жизни, у него в сердце». Теперь он целиком перешел к

частностям и – следуя своему инстинкту, который всегда загонял его в чужую душу и принуждал осматривать ее изнутри, – поставил себя на место Вульта, представив, как тот ничего хорошего не имеет, ничего не знает (о водопаде, прежде всего), как он во всем или во многом желает только добра, особенно Вальту, только вот ведет себя чересчур деспотично и жестко... ну и так далее.

Обуреваемый такими мыслями, он решил немедленно отправиться к брату и ни слова не говорить ему о вчерашней уксусно-кислой размолвке, а просто: дотронуться рукой до другой руки (которая была соединена с ней еще в материнской утробе) и спокойно кое-что обсудить – особенно то, что касается предстоящего выбора новой наследственной обязанности.

Оказалось, что Вульт в отъезде. Письмецо к Вальту было пришпилено к двери: «Драгоценнейший! Я сегодня поспешно уехал, дабы сыграть в Розенхофе обещанный концерт. В будущем я намерен работать гораздо усерднее; ибо, по правде говоря, я делаю для нашего совместного романа слишком мало – в особенности потому, что не делаю для него вообще ничего. Мы оба не могли не заметить, что я охотнее разговариваю – чувствуя себя как рыба в воде даже в самых бурных словесных потоках, – чем пишу. Однако ничего хорошего в этом нет – ни для литературы, ни для гонорара. В школах, между прочим, мастерству *считать* и *писать* обучает *один* человек; тогда как настоящий мастер писать книги редко бывает одновременно и мастером счета; сам я, увы, не владею даже одним мастерством из упомянутых двух, а вот в деньгах, тем не менее, нуждаюсь. Адё! ф. X.».

«Бедный загнанный брат! – воскликнул Вульт. – Теперь, значит, он должен отыгрывать подарок, который прежде так забавно – играючи – подsunул мне. Почему я всегда с таким неистовством обрушиваюсь на этого добряка и пригибаю его к земле?» Он принял серьезное решение: что впредь будет совсем иначе, чем прежде, натягивать вожжи – дабы держать в узде свой бурный, неистовый нрав.

Но мысли о Розенхофе вскоре залили всё радостным светом и превратили флейтиста чуть ли не в святого, который теперь представлялся Вальту осыпанным блестками и бредущим по сияющим пойменным лугам этого прекраснейшего утра.

Мужественнее, чем когда-либо прежде, Вульт вновь ступил в запутанные коридоры своего нотариата, которые по мере приближения конца этой его наследственной обязанности раскрывались перед ним все чаще. Ему было совершенно безразлично (настолько радостно бился теперь его пульс), о чем именно он составляет документ – о наследстве ли какого-нибудь придворного проповедника, или о продырявленной бочке с оливковым маслом, или о чьем-то пари: он постоянно думал о доме генерала, или о том водопаде, или о Лейпциге, и ему, наверное, было все равно (ибо он не обращал на это внимания), что он в данный момент записывает в качестве принесшего публичную клятву императорского нотариуса.

Опутанный сверкающей паутиной этого бабьего лета сердца, он наконец перенесся из сентября и нотариата в октябрь, где должен был отчитаться перед исполнителями завещания Кабеля за выполнявшуюся им до сего момента наследственную обязанность, что не внушало ему ни малейшего страха: ибо взгляд Вины разжег в нем столь пламенное сердцебиение, что он оказался наделен теперь таким весенним пульсом, который помогал сохранять внутреннее тепло при любых внешних заморозках, насылаемых на него судьбой.

Его отец Лукас в последнее время во многих копиях собственных писем-оригиналов (которые шультгейс оставлял у себя, поскольку, когда дело касается написания писем, оригинал всегда выглядит хуже всего) высказывал ему свой страх перед закулисным нотариатом и настойчиво напоминал о приближении решающего срока. Вальта такое многократное повторение все той же сухой мысли (подавлявшей другие, свежие) весьма тяготило, и он ничего так горячо не желал, как прежней свободы, позволявшей ему думать о сотне разных вещей. «Не потому ли ошибочный путь столь огорчителен, – говорил он себе, – что человек, пока не выйдет снова на правильную дорогу, вынужден постоянно видеть перед собой, держать в голове только

устаревшую плоскую идею пути?» Обычные горести жизни менее весомы в момент своего рождения, нежели в период внутриутробного созревания, и подлинный день скорби приходит на двадцать четыре (условных) часа раньше, нежели тот же день в его внешнем воплощении. Когда Вальт в назначенное ему утро вошел в ратушу, уже первый шаг превратил его в другого человека, а именно в прежнего: ведь для него вся процедура уже закончилась, поскольку ее конец был так близок. Он оказался в приемной слишком рано, но сохранил хорошее настроение и даже сочинил полиметр, в котором воспел некоторые приятные композиции в технике барельефа, украшающие ратушную печь и заключающие в себе столько теплоты, сколько позволяет проявить такое время года, если печь остается нетопленной. Но, конечно, эти танцующие Оры, наполненные сеном рога изобилия, фруктовые косички, или гирлянды, связки пузатых и твердых цветов или овощей и шесть изображений весны (печь была циркуляционной), все из майолики, сумели обогреть поэта, каковым был Вальт. Поскольку нужная ему комната в ратуше пока оставалась закрытой, он углубился в отвлеченные рассуждения – о том, например, нельзя ли создать целый роман, особенно комический, на основе таких вот печных изразцов. Только мужчина способен вот так, перед важным поворотным пунктом в своей судьбе (например, перед коронацией, битвой, казнью, самоубийством), – но не его жена перед столь же решающим для нее моментом, например, перед балом, – сочинять стихи, предаваться сну, читать.

Тут наконец появился патрон обделенных наследством наследников Кабеля – пфальцграф Кнолль, – и всё началось, и все надлежащим образом предстали перед бургомистром Кунольдом.

Вальт еще никогда не чувствовал себя в помещении ратуши таким невесомо-легким: сейчас он мог бы раскачиваться, как на качелях, на тычинке лилии. Но он очень быстро упал со своей лилии на грядку, когда патрон начал произносить речь и заявил, что «принесший публичную клятву нотариус до сих пор выполнял возложенные на него обязанности совершенно абсурдно»: что он не только, во-первых и во-вторых, дважды употребил сокращения в документах – в-третьих, один составлявшийся ночью документ (завещание в башне) записал двумя разными чернилами и, в-четвертых, при одном-единственном светильнике – в-пятых, один раз стер уже записанное – в-шестых, один раз вообще не указал, что его специально пригласили для составления документа, – в-седьмых, в том же документе не указал и часа – в-восьмых, гвоздично-коричневую бечевку, которой было обмотано исковое заявление N. N. против N. N., описал в протоколе как желтую – в-девятых, когда домашние слуги под присягой давали показания в пользу своего господина, совершенно забыл как предварительно освободить их от прежде взятых на себя обязательств посредством протягивания руки, так и зафиксировать этот акт освобождения, – но что он, в-десятых, даже проставил неправильную дату в сертификате опротестования векселя и, в-одиннадцатых, недавно, уже напоследок, без зазрения совести датировал один документ 31-м сентября, хотя такой даты вообще не существует. Теперь Вальта судебным порядком спросили, что он может против этого возразить. «Даже не знаю, что, – ответил нотариус, – да и чужой памяти я в данном случае доверяю гораздо больше, чем собственной. В отношении же упомянутых слуг я решил, что это самоуправство, и что вообще невозможно – одним моим словом отнять у них их обязательства, а потом вернуть». В ответ господин Кунольд сказал: мол, такое обоснование свидетельствует скорее о благородных мыслях, нежели о юридической компетентности; и обратился за подтверждением к господину фискалу Кноллю. «Ничего не может быть смехотворнее», – согласился тот и нагромоздил еще десять или двадцать тягуче-пустопорожних слов, чтобы побудить исполнителей завещания сделать то, что и так само собой разумелось: вскрыть соответствующую тайную статью.

Однако прежде чем Кунольд приступил к этому, он возразил пфальцграфу, что отнюдь не все знатоки права требуют использования при составлении ночных контрактов именно трех светильников – а лишь некоторые; и потянулся – поскольку Кнолль упорно настаивал на своем, – чтобы достать из шкафа, как ближайшее доказательство, *promptuarium juris* Хом-

мея или Мюллера. Библиотека ратуши содержала не более четырех юридических справочных томов; но в ней, как и в большинстве публичных библиотек, отсутствовал каталог.

Кноль остался при своем мнении; Кунольд тоже не пошел на уступки, но все же зачитал вслух штрафной тариф: «...а именно, что за каждый нотариальный промах молодого Харниша каждому из наследников должно быть предоставлено право срубить в Кабелевом лесочке по одному еловому дереву». Поскольку же Вальта уличили в десяти прегрешениях (если не считать спорных светильников), то эта *Veset*, помноженная на семь упомянутых казней, предполагала внушительную вырубку, семьдесят древесных стволов, и в результате подобной исправительной меры Вальт не мог бы быть «просветлен» даже наполовину так основательно, как сам лесок. – «Ну, – вздохнул, разведя руками, нотариус, – что ж тут поделаешь?» – Он умел в глубине души утешать себя относительно всяческих превратностей жизни так же хорошо, как сапожник утешает клиентов относительно принесенных им новых сапог; если сапоги жмут, мастер говорит: они, мол, наверняка растопчутся; если же слишком велики, обещает: из-за сырости они обязательно скукожатся. Так и Вальт втайне думал: «Это научит меня уму-разуму. И все-таки теперь, как нотариус, я буду спокойно составлять любые документы, зная, что никакая тайная статья больше не может ни в малейшей степени помыкать мною или что-то у меня отнять». Однако под конец фискал Кноль все же превратил легкий поэтически-божественный *ихор* его сердца в нечто тяжелое, густое и соленое: когда, ничуть не обезумев и не опьянившись радостью от обретения обреченных на вырубку деревьев, возобновил свой протест по пункту, касающемуся трех светильников. Зримое присутствие существа, очевидно преисполненного ненависти, гнетет и терзает неизменно любящую душу (для которой и простая холодность равносильна ненависти) душевной атмосферой приближающейся грозы, громовые удары коей менее мучительны, чем сама ее близость. Опечаленный – даже мягкими попреками Кунольда, объявившего его ошибки непростительными именно потому, что их так легко было избежать, – отправился Вальт домой; и уже заранее предвидел проклятия и насмешки Вульта.

Первым, что он сделал, придя домой, было бегство из дому на прекрасные тихие холмы октябрьской природы – ради того, чтобы убежать от отца, шультгейса, который наверняка захочет подвергнуть его остракизму: ведь Вальт точно знал, что отец тотчас помчится в город, чтобы запустить ему в голову каждым черепком от расколовшегося «горшка счастья». С мирного холма напротив того самого лесочка Вальт – пока, сочиняя стихи и предаваясь охватившим его чувствам, превращал медицинское *Miserere* своей судьбы в музыкальное – очень хорошо видел, как уже несколько наследников в сопровождении опытных лесорубов с удовольствием прохаживаются по упомянутому в завещании лесу, дружно ставя особым молотком клейма на стволы доставшихся им по милости Кабеля деревьев. Наконец неспешно прибыл на лошади Флитте – во главе жадной до древесины компании с топорами, пилами и линейками в руках. Подобно вдовцу, который ежедневно разбивает свой траур на все более мелкие дробы, превращая его в треть траура, 1/4, 1/8, 1/64 часть (при том что траур, или числитель, никогда не может, согласно математическим законам, стать нулем), Вальт, наблюдая эту картину, преобразовывал свой слабый полутраур, выражаясь арифметически, в бесконечно большой знаменатель и бесконечно малый числитель, то есть под конец его настроение стало таким, какое принято называть радостным. «Ну и правильно, – думал он, что этому добряку Флитте, который был столь щедр, что включил мою персону в число наследников, я все же подброесил, благодаря совершенным мною ошибкам, какой-никакой благодарственный дар: он наверняка почувствует радость, причем без малейшей примеси злорадства». Однако радость самого Вальта, связанная с утратой деревьев, несколько подвяла, когда он увидел старого шультгейса: как тот в терновом венце и со скипетром мученика в руках шагал со стороны города и потом углубился в лесок. Лукас теперь подходил к каждому помеченному стволу – задавал вопросы, что-то говорил и ругался – пересекал лесосеку во всех направлениях – пытался, не имея никаких полномочий, опять всё оспорить – носился туда и сюда, как летучий лесной суд и лесни-

ческая коллегия в одном лице, подбегая к каждому кустику, к каждой пиле, – пустыня его лица становилась всё более сухой и аравийской по мере того, как перед ним представляли всё новые наследники, эти наихудшие из лесных вредителей, каких он только мог вообразить, – он смотрел, горестно вздыхая, на каждую крону, которой предстояло рухнуть, – и не мог ничего поделать, кроме как, в соответствии с лесным законом, указать, в каком направлении должно падать дерево, чтобы меньше пострадали кусты.

Вальт издали с жалостью наблюдал за ним; как бы легко – в других случаях – ни растирал он свою судьбу (то черную, то белую) для получения поэтических красок, словно превращая ее в уголь и мел: эту рубку предназначенных для вырубki деревьев преобразовать в поэтическую картину не удавалось, потому что ему было больно смотреть на отца. Он, однако, с упорством дожидался, когда отец уйдет; а потом, не обращая внимания на прекраснейший закат, плававший перед его глазами, провел внутри себя голосование по вопросу о том, какую из наследственных обязанностей ему теперь следует выбрать, чтобы порадовать отца.

Из-за отсутствия флейтиста ему не хватало кворума и хоть какого-то, пусть самомалейшего, меньшинства: поскольку большинство (то есть сам он) состояло только из одного человека, а значит, было, если и не минимальным (ибо нередко случается, что на голосование не приходит вообще никто), то совсем незначительным.

В конце концов он выбрал самую кратковременную обязанность, а именно – семидневное проживание у одного из наследников. Соответствующее место в *Corpus juris* завещания (клаузула б, литера «ж») звучит так: «он (Вальт) должен прожить по неделе у каждого из господ потенциальных наследников (если наследник не будет возражать) и добросовестно исполнять все желания своего временного квартирного хозяина, если они согласуются с честью». Такую краткосрочную обязанность он надеялся выполнить без серьезных ошибочных шагов и ошибочных скачков в сторону, притом в самое короткое время – прежде, чем появится его брат. После выбора обязанности ему еще надлежало определить того из наследников, кому первому он окажет такую честь. Нотариус выбрал для недельного проживания того из них, у которого жил до сих пор, – господина Нойпетера. «Помимо прочего, этого требует чувство деликатности», – сказал он себе.

№ 52. Чучело Мухолова-Тонконоса Светская жизнь

Наутро, после того как Вальт составил у себя в голове изысканнейшее обращение к придворному агенту (пока что там, в голове, и остававшееся), он явился к Нойпетеру – тот принял его в рабочем кабинете, сидя под зажженной лампой, с печаткой у влажных губ, и сразу сообщил, что сегодня у него почтовый день. Коммерсант продолжал запечатывать письма, Вальт же непринужденно произносил у него за спиной свою речь, исполненную деликатности, – пока Нойпетер, покончив с делом, не потушил свет и не спросил: «Ну, что там у тебя?» Так что все словоизлияние нотариуса пропало всуе.

Никто не способен произнести одну и ту же речь два раза подряд; Вальт, заторопившись, думал теперь только о том, как бы извлечь хоть слабый свинцовый экстракт из уже сказанного. Но торговый агент настоятельно попросил его «не вязаться к людям с такой околесицей».

Все возможные прегрешения, связанные с новой обязанностью, Вальт перенес бы гораздо легче, нежели этот тяжелый удар захлопнувшейся перед носом двери. Отягощать кого-то прозрачной орденской цепью, подарив этому человеку преимущественное право на обговоренную в завещании испытательную неделю проживания: о таком нотариус больше не думал; а вот встретить и осчастливить бедного, но доброго малого, с которым он мог бы разделить даже не столько хлеб с неба, сколько хлеб слезный, то бишь, например, его жалкое жилище, – к этому теперь устремлялась мечта Вальта, а не его вопрошание, ибо упомянутый малый давно налился Флитте из Эльзаса. Вальт поднялся на башню Святого Николая и изложил эльзасцу, но осторожно, свое предложение: что хотел бы прожить у него первую испытательную неделю. Флитте радостно бросился ему на шею; и заверил, что сегодня же съедет с башни, поскольку уже совершенно выздоровел и теперь меньше, чем прежде, нуждается в свежем башенном воздухе. «Я сниму для нас две превосходно меблированные комнаты у *cafetier* Фресса; *pardieu*, мы ведь хотим жить *comme il faut*», – сказал он. Вальт почувствовал себя более чем счастливым. Всего за полчаса Флитте упаковал и потом на новом месте снова распаковал свой багаж; ибо брошенными за ненадобностью пожитками он – как гусеница или паук своей нитяной пряжей – обычно покрывал и помечал маршрут прохождения через сменяемые им жилища; как если бы то были прекрасные локоны, вырванные и оставленные на память; соответственно, как легко догадаться, он, подобно небесному телу, по мере движения по орбите все более умался в объеме. Теперь он отважился спуститься со своей башни, до сей поры служившей ему бастионом и пограничным укреплением против кредиторов, и поселиться в неукрепленной кофейне: потому что унаследовал отчасти собственное наследство (то бишь связанные с ним возможности получения новых кредитов), отчасти – Кабелево (поскольку новейшие промахи Вальта, похоже, сделали Флитте в глазах горожан членом сообщества бенефициариев этого наследства), и отчасти – десять еловых стволов, Вальтовы дубы плача. В номере пятьдесят первом, в «Чучеле лазурного мельника», уже упоминалось подробнее, с какой помпезностью он раскалывал орешки и доставал из них ядрышки, приходя у урожай посеянных Вальтом ошибок, – чтобы показать себя горожанам в наилучшем свете.

Прекраснейшим утром бабьего лета Вальт не без меланхолического чувства покинул прежнюю тихую келью: ему казалось, будто она нуждается в нем и, оставшись такой пустой и одинокой, будет по нему тосковать – особенно его кресло. Но как же он изумился, когда, вступив в апартаменты *cafetier* Фресса, увидел гарнитуру предназначенных для него и Флитте комнат: высокие зеркала, полные отражений, овальные зеркала настенных подсвечников и прочую роскошь! Он вздрогнул. Флитте восторженно улыбался. Вальт отнюдь не желал вводить в расходы других людей; то обстоятельство, что добрый эльзасец снял для них обоих такие комнаты-дворцы, повергло его в раздумья и даже заставило издать стон. Вальт ведь решил, что все эти расходы

– ради него: он не мог догадаться, что Флитте относится к редкой породе так называемых расточителей, которые, подобно германскому императору, поклялись не оставить потомству ни империи, ни богатства; и которые действительно, как некогда высшие должностные лица Афин, в знак своей любви к отечеству не оставляют после себя ничего, кроме посмертной славы и долгов.

Вальт, не долго думая, вытащил из кармана золотые монеты, выданные ему из Кабелевой оперативной кассы на испытательную неделю, и положил их на стол со словами: «Такую плату определил завещатель; я, со своей стороны, предпочел бы, чтобы она была больше». Мало кто из людей получал такой мощный отпор, как он от Флитте, который спросил: разве Вальт, черт возьми, не его гость?

Однако Вальту предстояло решить еще один, более деликатный вопрос: обговорить указанную в завещании цель его проживания здесь. Он прибегнул к таким выражениям: «Мне поистине тяжело, находясь в столь замечательных светлых комнатах, у вас дома, думать о юридических проблемах – о завещании и его главных клаузулах; однако поскольку я вправе жертвовать своей радостью, но никак не обязательствами в отношении родителей: постольку... я вряд ли имею право, но я вынужден вас попросить, чтобы вы сами сделали предложение, которое могло бы привести к моим дальнейшим ошибкам. Поверьте, мне труднее задать этот вопрос, чем потом – действовать».

Эльзасец не сразу понял речевые изыски Вальта. «Ба! – воскликнул он. – При чем тут жертвы? Мы будем болтать по-французски и танцевать – старикана Кабеля это никак не касается». – «Болтать по-французски и танцевать? – переспросил запуганный историей с нотариатом Вальт. – То и другое одновременно? Мне тут нечего возразить, кроме того, что даже одна из упомянутых двух вещей открывает необозримые возможности для ошибок, не говоря уж о... Конечно, само по себе... И я готов, дорогой господин Флитте... но...» – «Sacre! О чем вообще идет речь? Неужели хоть один человек на земле готов поверить, будто кто-то побежит к бургомистру, привыкшему совать нос в чужие дела, и доложит ему, как мы тут развлекаемся?» Вальт быстро схватил его руку, сказав: «Я вам доверяю»; и Флитте обнял его.

Они позавтракали, приятно беседуя. Высокие окна и зеркала наполняли блеском комнату с гладкими стенами; прохладное синее небо, смеясь, заглядывало в нее. Нотариус чувствовал, что окружен достойным комфортом; колесо счастья вертело его, а не он – это колесо (которое даже не надо было красить, как красят колеса тележные, в красный цвет).

Флитте зачитал нотариусу два объявления для «Имперского вестника», придуманные им и перенесенные на бумагу за считанные дни: в первом эльзасец требовал от генерального военного казначея, господина фон Н. Н., проживающего в Б., чтобы тот до истечения шести месяцев компенсировал ему сумму в девятьсот шестьдесят белых талеров, потраченную на вино, – если, конечно, не хочет увидеть себя публично выставленным к позорному столбу на страницах «Имперского вестника». Нотариусу он охотно открыл имя этого человека и название города; но дело, конечно, было совершенно не в них. Второе объявление содержало более неприкрашенную правду, а именно: что он ищет – и очень хотел бы найти – компаньона с капиталом в двадцать тысяч талеров для организации винной торговли.

Лицо Вальта просияло от удовольствия, когда он услышал, что его добродушный собеседник распоряжается столь внушительными денежными средствами, и позолоченные громотводы, охраняющие жизнь Флитте, показались ему весьма надежными.

Флитте же спросил: «Скажите мне прямо, нет ли здесь стилистических ошибок. Я набросал оба текста всего за час». Вальт объяснил, что чем меньше объявление, тем более солидное впечатление оно производит; и добавил, что самому ему легче подготовить для печати один лист, нежели 1/24 листа. «Может, лукубрация вообще приносит вред? Соседи часто видят, как я занимаюсь такой макробиотикой – сижу за письменным столом до трех часов утра», – заметил Флитте, не особенно погрешив против истины, поскольку до сих пор с помощью надетого

на болванку для париков ночного колпака и зажженной рядом с ним лампы он самым легким и полезным для здоровья способом изображал из себя макробиотического читателя. Потом он развязал перед нотариусом, чье сердечно-искреннее восхищение и наивная доверчивость наполнили его душу приятным теплом, пачку любовных писем, будто бы адресованных ему и восхваляющих его самого, его сердце и свойственный ему стиль. На самом деле эльзасец получил этот пакет на сохранение от одного молодого парижанина, которому и были адресованы письма.

Вальт столь долго превозносил стиль прекрасной отправительницы писем, что эльзасец в конце концов и сам почти поверил, будто письма предназначались ему; однако нотариус делал это отчасти потому, что не хотел много говорить о любви как таковой. Будучи неопытным и стыдливым юношей, он все еще верил, что любовные переживания должны жить за монастырской решеткой или, в самом крайнем случае, в монастырском саду; поэтому он выразил свое мнение лишь в самых общих чертах: «Любовь, как и жертвенное воскурение, сколь бы деликатны ни были то и другое, все же способна и в сгущенной дождливой атмосфере воспарять вверх, прорываясь сквозь более плотные слои воздуха»; и, сформулировав эту мысль, густо покраснел.

«*Surement*, – подтвердил эльзасец, – ибо любовь с каждым днем стремится все к новым достижениям».

Флитте пошел еще дальше и покрасовался перед своим гостем даже и в типографском облике, а именно: показал ему изящнейшие любовные мадригалы, которые, как он объяснил, он обычно отдает печатать в формате *centesimo-vigesimo* и которые в любом случае никогда не превышают $\frac{1}{20}$ листа; это были листочки со стихами, вылущенные из парижских конфет, – настоящие сладкие записочки, плагиат которых Флитте облегчил себе тем, что съел их сладкие конверты. Почему немецкая поэзия оставляет французской преимущество пользования такой сладчайшей оберткой; то есть почему мы, в то время как французы облачают свои стихи в сахар и сладкое тесто, поступаем наоборот и свои стихи используем как облачение, упаковочную бумагу для патоки и пряностей? – вот что в связи с этим можно было бы спросить, если бы здесь нашлось место для ответа. Вальт принялся безмерно восхвалять стихи; эльзасец почувствовал себя всплывающим вверх, как масло в воде, и, можно сказать, едва не утонул в расточаемых Вальтом хвалебных умощениях. О каком бы удовольствии, приготовляемом одним человеком для другого, ни шла речь, наслаждение им зависит от всякого рода случайностей, от состояния нёба или желудка; но что касается удовольствия от искренней похвалы, то для него у любого человека без исключения в любой час открыты и уши, и желудок; и такой счастливец восклицает вне себя от радости: «Похвала есть воздух, то бишь единственное, что любой человек и может, и должен глотать непрерывно». Флитте в этом смысле не отличался от прочих; освеженный услышанным, он потащил нотариуса на улицу: чтобы и Вальту доставить какую-то радость, и для себя обеспечить свободу маневра. Дело в том, что старые кредиторы охотились на эльзасца столь же рьяно, как он – на новых; а поскольку он знал правило древних римлян, которые, согласно Монтеस्कье, старались вести войну как можно дальше от дома, сам он тоже предпочитал оставаться дома как можно реже. Вдвоем они избородили весь утренний город, и нотариус чувствовал себя очень хорошо. Поскольку Флитте хотел показать себя горожанам – точнее, показать им Харниша, Кабелева универсального наследника, проводящего у него в доме испытательную неделю, – он перекидывался словечком со многими; и счастливый нотариус всякий раз стоял рядом. Перед каждым партерным окном («*Par-terre*, – говорил Флитте. – Немцы произносят это слово совершенно неправильно») эльзасец останавливался и стучал в стекло, как если бы это была стеклянная дверь, и показавшейся девичьей головке, еще наполовину осиянной Авророй утреннего сна, говорил сотню комплиментов, так что эта барышня в утреннем одеянии не могла не задержаться у оконной рамы и не продолжать там свое шитье. Часто Флитте, не задавая лишних вопросов, даже посылал поцелуи извне вовнутрь – что Вальту

представлялось такой высокой степенью овладения искусством жизни, какая достижима лишь для избранных фаворитов Франции. Если во втором этаже курил трубку и поглядывал вниз какой-нибудь импозантный господин в шелковом шлафроке, то Флитте заговаривал с ним или поднимался наверх, и Вальт тогда шел вместе с ним. Эльзасца давно все знали: поскольку в семьях, относящихся к высшему бюргерскому сословию, он обучал танцам детей, а в домах знати – собак; представителей знати он сопровождал и на более сакральных путях, а именно – к алтарю. Ибо хаслауская знать, как всем известно и как уже вошло в обычай, принимает причастие публично, *in corpora* и одновременно – как если бы она была сообществом Святых Апостолов или армейским подразделением; и Флитте пристраивался сразу же вслед за этим сообществом, как последний, как вслед за бюргерами пристраивается палач; эльзасец поступал так всегда, за единственным исключением, когда ему пришлось принимать причастие в одиночестве – просто потому, что он, словно кровельщик, взобрался на башню. Вальт никогда в жизни не заходил в такое количество комнат, как этим утром. Если мимо них проезжал верхом какой-нибудь господин, Флитте обязательно бросал ему вслед словечко-другое относительно его лошади: например, что она хромает. Если у обочины стоял экипаж, готовый к отъезду: Флитте дожидался, пока хозяин сядет в него, и, когда экипаж уже трогался, кричал вслед, что навестит этого человека в его поместье. Если припозднившиеся купцы возвращались с лейпцигской ярмарки: Флитте не заставлял их дожидаться коммерческих новостей из Хаслау до тех пор, пока они окажутся под родным кровом, а выкладывал свои новости в то время, пока они распаковывали свой товар.

Вальт был представлен чуть ли не всему здешнему свету, и ему много раз представлялся случай самому что-либо сказать.

Никто бы не поверил, что эти двое за *одно* утро нанесли столько визитов, не будь это известно наверняка. Они, например, явились к господину Оксле, владельцу лавки и кружевной мастерской, и любовались там образцами его товара, и хорошенькими саксонскими кружевницами, и многочисленными пуговицами из Эгера, в которые заключены птицы – отчасти нарисованные красками, отчасти представленные собственными перьями. Но прежде Вальт полностью уберег прекрасные ковровые дорожки хозяина от следов своих сапог, сделав единственный доблестный широкий шаг, который сразу же перенес его в горницу с до блеска натертым полом.

Они посетили садовый домик церковного советника Гланца, где Флитте неудачно попытался продемонстрировать свое знание латинского языка с помощью принадлежащей проповеднику гравюры на меди: он стал зачитывать вслух помещенный внизу латинский стих и пояснительную надпись, бойко и с галльским выговором, – однако прервался, дойдя до слов «... mortuus est anno MDCCLX». Ибо тот, кто вынужден прочитывать такие чуждые нам числовые обозначения более на своем, нежели на чужом языке, поскольку чужого языка не понимает, отчасти выставляет себя на смех, при всех своих прочих познаниях.

Потом Флитте отправился вместе с Вальтом к почтмейстеру – чтобы, по своему обыкновению, тщетно поинтересоваться, нет ли для него писем из Марселя. Почтовому чиновнику он помог прочитать один неразборчиво написанный французский адрес. Вальт горячо похвалил его *accent* и *pronunciation*. После, на улице, Флитте раз десять безрезультатно пытался ему показать, как следует акцентировать и прононсировать по крайней мере эти два слова. Вальт согласился, что ошибается не столько из-за того, как у него подвешен язык, сколько из-за отсутствия слуха, и, пожав эльзасцу руку, признался, что хотя и прочитал почти всех французов, но не слышал еще ни одного, и что именно потому он так жадно прислушивается к каждому звуку, произносимому Флитте; он, тем не менее, сослался на мнение генерала Заблоцкого, спросив потом: разве не приобрел он, обучаясь у Шомакера, довольно приличный французский почерк? Флитте в ответ указал ему на фразеологические германизмы, от которых нотариус пока не избавился.

Они отправились к вдове штандарт-юнкера, в доме у которой Вальт недавно натягивал струны. Вдова заговорила о смерти своего мужа и о том, как в осажденном Тулоне дотла сгорел принадлежавший ей дворец; спасти оттуда ничего не удалось, кроме одной вещицы, которую она навечно сохранит как память: ночной горшок из тончайшего фарфора. Эта деталь восхитила нотариуса присущим ей аристократическим цинизмом, который он собирался теперь использовать для придания особого колорита светским персонажам романа «Яичный пунш». Редко бывает, чтобы начинающий романист увидел, как старый генерал или молодой гоф-юнкер в сумерках... скажем, пускает струю мочи, – и не кинулся тотчас к письменному столу, спеша записать: «Господа придворные имеют обыкновение в сумерках постоять где-нибудь в укромном месте». В этом доме много говорили по-французски; и Вальт тоже вносил свою посильную лепту, часто повторяя: *comment?* – Флитте потом объяснил ему, что и в самом этом вопросе содержится германизм.

Они отправились в девический пансион, прежде известный нотариусу только со слов Вульта, – там царили, еще в большем количестве, галлицизмы и царили, во множестве, красавицы. Во всем, что касается непринужденных изъявлений галантности, за Флитте было никак не угнаться; однако Вальт довольствовался тем, что просто наблюдал за эльзасцем, пробираясь по узкой дорожке между грядками, сплошь заросшими лилиями души, и с величайшей осторожностью ставя одну ногу впереди другой. «Ах, какие же вы милые!» – восклицало его сердце. Всё, что он тут слышал, казалось ему необыкновенно деликатным... «Но может, – подумал он, – женщины – это вообще что-то другое? Посреди нечистого моря мужской мирской жизни, которое вбирает в себя все реки и трупы, они существуют обособленно, храня свою чистоту: в соленом мирском море – маленькие острова с прозрачной, освежающей водой; о, как же они добры!»

Когда он вышел оттуда, ему подали – на золотой посуде правящего князя – легкие паштеты, рулеты и фрикандели для гурманских наслаждений его фантазии. Эту посуду, подарок одного старого короля, дважды в год публично отскребали и чистили на рыночной площади, под присмотром маленького отряда пеших воинов, которые имели при себе оружие, чтобы защищать ее от посягательств со стороны дурно воспитанных местных детишек.

Они отправились к торговцу галантереей Прильмайеру и там позволили окружить себя роскошью женского мира.

Такого свободного, легкого, перемешивающего все сословия утра в жизни Харниша еще никогда не было; один мусический конь за другим впрягались в его триумфальную колясочку, и он летел как на крыльях. Жизнь Флитте с самого начала представлялась ему «танцующим завтраком», или *the dansant*; собственную же жизнь он теперь воспринимал как *eau dansant*. Он точно так же наслаждался, переносясь в душу Флитте – исполненного, как ему казалось, тем же восторгом, что воодушевлял его самого, – как когда погружался в себя; эльзасские пылинки, освещенные солнцем, он золотил и одухотворял, превращая их в поэтическую цветочную пыльцу. И в конце концов, шагая рядом с Флитте, втайне сочинил для него нижеследующую эпитафию:

«Эпитафия Зефиру»

На земле я летал повсюду, играя с цветами и ветками деревьев, а иногда порхал вокруг маленького облачка... В царстве теней я тоже буду порхать вокруг темных цветов и в рощах Элизиума. Не останавливайся здесь, прохожий, но поспешай дальше и играй, как я».

В десять часов Флитте подвел его поближе к княжеской резиденции: «Мы сейчас отправимся на эти *champs élysées* и там вкусим наш *dejeuner dinatoire*». Это был старинный княжеский сад, проторивший путь для первых в стране *Chaussee*. Правда, уже и по дороге к нему попадались запретительные таблички против детей и собак; однако только на *champs élysées* действительно было систематически запрещено всё, и особенно сами елисейские поля: ни в одном

парадизе не имелось столько запретных деревьев, столько преград перед плодами и цветами – во всех аллеях цвели наверху или прорастали внизу тюремные уведомления, эмиграционные и иммиграционные запреты; под такими декретами о грозящих наказаниях любой человек пересекал этот эдемский сад, чувствуя себя совершающим увеселительную прогулку заключенным, и, пока шел, поминал день Петра-в-Цепях, и мучился так же, как когда-то тот; скорее паломничеством по Дантовым кругам ада (откуда виден только клочок неба над головой), нежели католическим покаянным шествием по двенадцати стояниям крестного пути, представлялась любому человеку, оглушенному письменным лаем всех этих ругающихся деревьев и храмов, предпринятая им увеселительная прогулка – и человек этот, вконец испортив себе настроение, в конце концов, обессиленный, выбирался оттуда.

Но если Вальт когда-либо чувствовал себя радостным и свободным, то именно на этих полях; его внутренний человек держал в руках маленький тирс и бегал, размахивая им. Потому что от всех предупредительных табличек ничего более не оставалось, кроме самих табличек из дерева, камня, жести; а предупреждения заросли мхом или травой, скрылись под песком. Драгоценная свобода и ненаказуемость царили теперь в эдемском саду, как клялся и доказывал Вальту Флитте. Ибо весь этот заградительный порядок сложился в те далекие времена, когда великие и малые князья – в отличие от нынешних великих князей – вели себя по отношению к подданным (выражаясь вежливым языком) грубовато: когда они, как подобия Бога на земле (подобия, которым не пытались льстить даже живописцы), напоминая более иудейского, нежели евангельского Бога тогдашних церковных кафедр, чаще раздражались громами, чем благословениями. «А если теперешним господам что-то особенно любо и дорого в парке, – объяснил Флитте, – то такие места просто с особым тщанием обносят изгородями, так что туда в любом случае никто из посторонних не проникнет».

Оба теперь вкушали свой *déjeuner dinatoire*, то бишь утренний хлеб и утреннее вино, в открытой увеселительной беседке недалеко от садового трактира. Нотариус, как уже упоминалось, был счастлив; дневной и ночной сад с его подъемами и спусками, с легким, как бы летающим вниз увеселительным дворцом, похожим на окаменевшее весеннее утро, далее рощицы, из которых торчат, словно покачивающиеся тюльпаны, разноцветные увеселительные домики, а еще – выкрашенные разными красками мосты, и белые статуи, и размеченные по линейке многочисленные живые изгороди и аллеи – чем дальше Вальт шел, тем пламеннее расписывал все это эльзасцу, указывая то на одно, то на другое. Тому, конечно, нравилось слушать Вальта; потому что свои клод-лорреновские пейзажи он обычно создавал очень смело, с помощью всего одного слова или штриха: «Чудесно!» Но ведь у каждого человека для восхищения есть свой основной цвет; один говорит: «Как у англичан!» – другой: «Как на небесах!» – третий: «Божественно!» – четвертый: «Черт побери!» – пятый: «Ой!»

Вальт же сказал (правда, обращаясь к себе): «Или я ужасно ошибаюсь, или то, что я наблюдаю с самого утра, есть подлинно светская жизнь элегантных людей. Разве я не чувствую себя сейчас как в Версале и Фонтенбло, и разве не правит здесь снова *Louis quatorze*? Разница вряд ли велика. Те же аллеи – те же клумбы – кусты – то же множество людей поутру – тот же светлый день!» Дело в том, что у Вальта (еще бог знает с какой ранней жизненной поры) осталось столь романтическое представление о юности галантного и либерального Людовика XIV, покоряющего страны, женщин и сердца придворных, что юность этого короля с ее празднествами и небесными утехами виделась ему как прообраз собственной юности, как прекрасный нежный фейерверк в небе и как свободное освежающее утро придворных, прогуливающихся в неглиже; поэтому любой увиденный фонтан забрасывал его в Марли, любая нарядная аллея – в Версаль, а изображение дамы с высоким фонтанжем на гравюре, приколотой к стенке шкафа, – в тогдашний королевский дворец; даже вырезанные картинки, наклеенные на его письменный стол, перелетали вместе с ним в ту веселую – для двора, но не для народа – эпоху. «Разве жизнь придворных, – многократно говорил он себе, – не была непрерывной поэзией (если, конечно,

французские *Memoires* не лгут): свободной от насущных забот о пропитании, дарующей чувство окрыленности; и разве не могли придворные влюбляться хоть на каждом музыкальном вечере, а потом, уже ближайшим утром, отправляться на прогулку в парк со своей прекрасной возлюбленной? О, как, наверное, расцветали для них эти богини, нарумяненные самой Зарей!»

Таким образом, находясь сейчас в этом саду, Вальт наслаждался совсем другим садом, уже погребенным; как фейерверк, висела фантазийная копия высоко над своим распростертым внизу прообразом. К счастью, Флитте (который, в какой бы компании он ни находился, всегда уже подыскивал для себя новую) был столь любезен, что вступил в разговор с садовым ресторатором, подарив Вальту момент драгоценного одиночества, а вместе с тем – и несколько сновидческих путешествий. С какой же радостью нотариус их совершил! Видел он всё, но при этом рассматривал вот что: зеленые тени, пробиваемые дождем из солнечных искр – далекие озера (одни – словно темные веки этого парка, а другие – как светлые глаза) – барки на двух водных потоках – мосты над ними – белые высокие храмы, расположенные уступами на холмах, – далекие, но и оттуда светло сверкающие павильоны – и высоко надо всем этим горы, и дороги уже за их пределами, дерзко взлетающие прямо в синие небеса... Для него эта первая половина дня с каждым часом просветлялась, превращаясь из чистой воды в прохладный воздух – а тот наверху преобразовывался в эфир, в котором уже ничего больше не было, ничего не летало, кроме целых миров и света. Ему бы очень хотелось включить в эту картину и брата... Винин взгляд под струями водопада он видел теперь при свете белого дня. Вальт обрел блаженство, не сознавая толком, как или почему. Его факел горел вертикальным островерхим пламенем, хотя мир вокруг колыхался, – и ни один порыв ветра это пламя не искривлял. Вальт даже не сочинил ни одного длинностишия, он не хотел принуждать слог к чему бы то ни было, ему казалось, будто его самого сочиняют, и он легко приспособился к ритму этого неведомого восторженного поэта.

Пребывая в таком состоянии внутреннего благозвучия, он внезапно очутился перед странным садом внутри сада и слегка качнул, словно только играя, маленький колокольчик. Колокольчик едва успел прозвонить несколько раз, как уже явился, размахивая руками, богато одетый тучный привратник без шляпы, чтобы распахнуть дверь перед кем-то из членов княжеского семейства, ибо колокольчик служил для вызова слуг. Но когда этот благородного вида человек не обнаружил возле двери ничего, кроме кроткого нотариуса: он обрушил на голову изумленного звонаря одну из самых длинных бранных тирад, какие когда-либо произносил, – как если бы Вальт без нужды позвонил в колокол, возвещающий о пожаре или о турецком нашествии.

Однако всё Вальтово внутреннее устройство было сейчас таким легким и ладно круглящимся, что внешнее вряд ли могло бы туда проникнуть: ни одной капли не просочилось в его легкий летучий корабль; он просто сразу же вернулся к Флитте. Они отправились домой. Большие обеденные колокола призывали горожан собраться за столом, как два часа спустя колокола поменьше будут призывать придворных; на сытого нотариуса, который сейчас не собирался обедать, это оказывало весьма романтическое воздействие. Если в самом деле существует человек, живущий по часам, который одновременно и сам является часами, то это желудок. Чем более непросвещенным и бранным является живое существо, тем лучше оно чувствует время, что хорошо видно на примере человеческих тел, лихорадки, животных, детей и сумасшедших; только дух способен забывать о времени, потому что только он его создает. Но если упомянуть желудку, или «человеку, живущему по часам», кто-то переставит часы, по которым он принимает пищу, на несколько часов вперед или назад, то он, в свою очередь, настолько сильно собьет с толку дух, что тот станет совершенно романтическим. Потому что дух со всеми его небесными звездами должен подчиняться телесному круговороту. Поздний завтрак, заменивший обычный, так далеко вышвырнул нотариуса из колеи, по которой он двигался на протяжении многих лет, что для него каждый удар колокола, и положение солнца на небе, и вся

вообще вторая половина этого дня приобрели чуждый и странный облик. Может быть, и война – именно потому, что переворачивает весь привычный распорядок дня, превращая его в беспорядочные отливы и приливы потребления пищи, – настраивает дисциплинированного прежде солдата на романтический и воинственный лад.

Ближе к вечеру отбрасываемые домами тени стали казаться Вальту еще более удивительными, и в комнате Фресса время представлялось ему одновременно тесным и удлинившимся, потому что из-за аварии в своей внутренней обсерватории он ничего теперь не мог предвидеть заранее. Ему хотелось снова увидеть светскую жизнь, и он пошел вместе с Флитте в бильярдную, но там с удивлением услышал, что тот ведет счет шарам не на французском, а на немецком языке. Устав от такого маловдохновляющего зрелища, Вальт вскоре ушел оттуда, один, на прекрасный берег реки. Застав там бедных людей, которым в этот день в соответствии с городскими законами дозволялось ловить рыбу (но не на крючок и не сеткой) и собирать мелкий сухостой и валежник (но не пользуясь топором), он внезапно увидел в их сегодняшних удовольствиях извинение своим собственным, которые мало-помалу начали казаться ему слишком уж великосветскими и праздными: «я тоже, – думал он, – сегодня наслаждался довольно-таки светской жизнью, а вот для романа не написал ни слова; но завтра всё должно быть совсем по-другому, и завтра я останусь дома».

Длинные вечерние тени на берегу и длинные красные облака прицепились к нему, как новые большие крылья, которые двигали им, а не он – ими.

Он бродил в одиночестве по сумеречным улицам, готовый к любым авантюрам, пока не вошла луна и не стала его лунными часами. Тогда прежняя путаница разрешилась, и желудок понял, который теперь час. Перед мерцающим домом *Вины* Вальт несколько раз пронес туда и обратно свое многократно растревоженное сердце; и тогда в него снизошла, будто с неба, тихая сердечная тяга, и увеселительный земной день был увенчан священным небесным часом.

№ 53. Крестовый камень возле Гефреса под Байрейтом Охотничья сценка с кредиторами

Наутро Вальт совершенно по-детски радовался, мысленно возвращаясь во вчерашний день, который, чуть-чуть повернув его жизнь против солнца, сделал ее такой сверкающей, что нотариус пережил множество дней за *один*, тогда как обычно много летящих друг за другом, перекрывающих друг друга временных промежутков едва ли дают человеку возможность взглянуть хоть какой-то из них. Сегодня же он остался дома и усердно писал.

Флитте это не нравилось; одинокое пребывание дома, может, и расценивалось им как приправа, или гарнир, к приятной компании, но саму компанию заменить не могло. Между тем тот, кто никому не подражает, сам становится примером для подражания: Вальт с его поэтическими всплесками до такой степени понравился эльзасцу (хотя тот рядом с этой поэтически-игривой волной вращался как прозаический разговорный вал и редко мог понять нотариуса или ответить ему), а Вальтова необычная симпатия и привязанность еще раньше так славно обогрели этого порхающего человека, что Флитте и сам остался дома, просто чтобы побыть с ним, хотя он лучше, чем кто бы то ни было в мире, предвидел, какие кредиторы-москиты будут его сегодня кусать, – ведь всякие мошки, как известно, предпочитают нападать на нас, когда мы стоим на месте, а не идем. Ибо основной закон природы гласит: кто ничего не строит, кроме испанских замков, тот пусть и не рассчитывает ни на что, кроме столь притягательных шпанских мушек. Второй закон: когда бы ты ни явился к злостному должнику, получившему накануне деньги, слишком ранним этот час в любом случае не будет.

Действительно, уже в самый ранний час явилось привычное разъяренное воинство, которое эльзасцу приходилось вновь и вновь отсылать назад, предварительно излечив от ярости; и Флитте здесь, как и повсюду, принимал его в специально для этого выбранной палате для аудиенций, чтобы уделить пришедшим единственное, что он имел: внимание. А вот нотариус, со своей стороны, ничего такого уделять им не собирался: он, будто оглохнув, усердно продолжал сочинительствовать, в то время как Флитте, на отдалении от него, сражался в битвах. Поистине, стоит не пожалеть усилий и хотя бы кратко рассказать о военных походах, которые Флитте совершил в этот день, прежде чем расположился на теплых зимних квартирах, то бишь в своей постели. Левое крыло ежедневно нападающего на него войска состояло из евреев; правое образовывали прокатчики комнат, лошадей и книг, а также профессионалы по уходу за человеческим телом и торговки рыбой; во главе же выступал, как генералиссимус, некий человек с траттой; официальные отчеты повествуют об этом так:

Ранним утром, в тумане, каре евреев перешло в атаку; но Флитте легко обратил их в бегство – скорее, посредством грубого военного клича, нежели с помощью утонченных военных хитростей; и сказал только: они, мол, всего лишь евреи, а он пока что ничего не имеет, так чего они вообще от него хотят?

Пока он завтракал с Вальтом, его попытался взять приступом часовщик, у которого он прежде купил часы с репетиром – за свои обыкновенные, только показывающие время, и денежную ассигнату. Флитте клялся, что часы с репетиром плохо «повторяют» время, что свои ему так же милы – и, по крайней мере, исправно повторяют показывание, – а под конец предложил произвести обмен пленными. Но поскольку этот человек уже успел продать «немые» часы, как и Флитте, со своей стороны, – «говорящие»: врагу пришлось отступить с потерей одного часа.

Позже Флитте, что можно считать везением, выглянул из окна – и вовремя заметил приближение конного противника: некоего прокатчика лошадей. Эльзасец принял его в палате для аудиенций, поскольку хорошо помнил этот рубящий голос и воинственную глотку; но сумел в зародыше подавить боевой клич врага посредством «парового шара», который запустил таким

образом: «Помнит ли столь ценимый мною предприниматель угловую ель в Кабелевом лесу, которая недавно досталась мне по наследству вместе со многим прочим, уж не говоря о том, что я рассчитываю получить в будущем? Из нее можно выточить целый мельничный вал! Никакого сомнения! Короче, я уже почти обещал ее другому; но предприниматель, которого я столь высоко ценю, должен получить преимущественное право – пусть он это оценит – и тогда, после вычета суммы долга, по-честному заплатит мне, что останется, – что на это скажете, друг мой?» – Враг его ответил, что наконец-то услышал полноценное, с руками и ногами, слово, – и покинул поле сражения.

Сразу же вслед за ним подъехал рысью второй поставщик лошадей – в длинном, синем, накинутом поверх кожаного фартука кафтане – и, хмуро хмыкнув, сдвинул кожаную шапку на лоб. «Так и что? – спросил он. – Фокусы-покусы сегодня со мной не пройдут». – «Спокойно! – ответил Флитте. – Помнит ли столь ценимый мною предприниматель угловую ель... (и так далее)? Из нее можно... (и так далее). Короче, я уже... (и так далее)». Враг ответил: «Это похоже на обман: но Господь не... – упаси нас Господь!»

Поединок с тугоухой башмачницей оказался опасным, потому что на ее крики отвечать имело смысл столь же громко, но тогда бы его мог услышать Вальт. К счастью, Флитте сразу показал ей старый позолоченный памятный пфенниг (уже стократно служивший ему осадной монетой и неразменным талером) и крикнул в самое ухо: «Разменяю – вечером в шесть!» Но она еще долго палила по полю сражения, ибо у нее снаряды вообще не иссякали. Женственная Беллона гораздо ужаснее, чем мужественный герой Марс...

«Войдите!» – крикнул он; и малорослый, круглощекий, кругленький мальчишка аптекаря вкатился в комнату. «Я пришел сюда как ученик нашей Хехтовой аптеки, чтобы передать, согласно произведенному подсчету, счет за бедную Биттерлихшу, живущую на Хопфегассе, потому что мой господин принципал покорнейше кланяется вам и просит компенсировать ему затраты на ее излечение. Всё это – только из-за распорядка в нашем заведении; ибо послезавтра, как всем известно, я буду произведен в подмастерья». Перед столь деликатным врагом Флитте сложил оружие, то есть отдал-таки ему полу пистоль (еще из старых пистолей), но сказал: «Господин Хехт хочет нарастить на свои серебряные пилюли толстый слой золота. Передай ему, что врача, оказывающего вспоможение при родах, я уже оплатил». – «Какой же ты добрый-добрый!» – воскликнул Вальт. «Эта женщина пребывала и пребывает до сих пор в самом жалком положении, какое только можно вообразить; и ведь она даже не красива!» – пояснил Флитте.

Незамеченный, приблизился еще один вражеский отряд численностью в *одного* знаменосца, который начал свою атаку так: «Ваш покорный слуга! Говорю раз и навсегда: ни один человек не позволит, чтобы ему долго морочили голову. Я же со времени обращения Павла играю роль вашего шута и бегаю за вами, чтобы получить от вас хоть малую толику квартирной платы. Сударь, за кого же вы держите нашего брата?» – «Вы ведь прекрасно знаете, – ответил Флитте, – что я выплачиваю долги постепенно и вообще не терплю, чтобы мне об этом напоминали, не правда ли?» – «Ах, вот как? – возмутился знаменосец. – Я, и еще три домовладельца, и один чистильщик сапог уже объединились между собой и отписали ваши долги городской богадельне». – «Что-о-о, неотесанное мужичье? – пропел Флитте, растягивая слова. – Мне это даже нравится. Только что я отдал Хехтову подмастерью (стоящий рядом со мной господин это подтвердит) половину золотой монеты за лечение совершенно чужой мне, совершенно нищей Биттерлих; так что мне теперь за дело до всего этого?» И эльзасец показал ему полный, скрепленный кольцом кошелек со словами, что квартирная плата была для него уже полностью отсчитана, однако теперь он не получит ни гроша; после чего противник, напрасно сославшись несколько раз на то, что богадельня пока не получила никакого письменного документа, ретировался без всякого музыкального сопровождения, крайне расстроенный тем, что этот – только продемонстрированный ему – кошелек оказался, как у турок, равнозначным самим деньгам.

Вслед за этим явился еще один, 23-й господин, имеющий права территориального господства над Флитте, – за 23-им последовал 11-й – а за ним пятый; и каждый хотел получить поземельный налог, или ежеквартальную либо жилищную плату, за уголок в том зданьице, что подлежало его юрисдикции. Господам, которые вели себя грубо, Флитте вообще ничего не давал, кроме ответа, что в предоставленную ими комнату проникало больше сквозняков, чем света, что обслуживание было из рук вон плохим, а мебель – обветшавшей. Вежливым он платил за их территориальные права территориальными мандатами на десять унаследованных им древесных стволов – то есть расплачивался с ними бонбошками бонов. После пришел господин, который правил башней прежде ее нынешнего владельца, – благочестивый Гутер с двумя длинными седыми локонами, выбивающимися из-под тесной кожаной шапочки, – и попросил предоставить ему в качестве предоплаты половину того, что Флитте задолжал. Флитте дал ему эти деньги, сказав: «Я и без того, насколько припоминаю, остаюсь перед вами в долгу, герр Гутер». – «Всё так или иначе разъяснится», – ответил тот.

После ужина некий прокатчик книг отважился перейти в наступление и тем самым подверг себя особой опасности. За книгу стоимостью 12 грошей и объемом в 12 листов он потребовал 2 талера абонементной платы (за 2 годовых квартала). Дело в том, что Флитте, имевший обыкновение любую одолженную вещь одалживать еще кому-то, соответственно ее назначению, позволил этой книге столь долго находиться в обращении – ибо каждый из получивших ее поступал так же, как он, – что в конце концов она потерялась. Напрасно эльзасец предлагал, что купит ее за треть требуемой суммы; прокатчик упорно настаивал на выплате абонементной платы и спрашивал: мол, разве это много – чуть больше пфеннига за страницу? Даже Вальт, со своей стороны, попытался убедить прокатчика книг, что тот ведет себя чересчур «своекорыстно». – «Своекорыстно? Надеюсь, что так; человек одним только своекорыстием и жив», – отвечивал прокатчик. Флитте предоставил ему возможность немедленно и опростетью броситься в ближайшую судебную палату – после того как щедро заплатил... только за десять новогодних открыток и пять календарей, которые прежде взял домой, чтобы что-то для себя выбрать, да так и позабыл вернуть.

Незадолго до того, как пробило шесть, двое друзей решили немного прогуляться на свежем воздухе, которым предпочитал жить сам Флитте; на пороге дома к ним обратился, весь дрожа, изготовитель живописных кисточек Пурцель – младший брат театрального портного, – с ввалившимся лицом, очертаниями напоминающим рюмку (только края лба и подбородка казались выпуклыми), – в обшарпанном сюртучке, застегивающимся на левую сторону, – с выползающим из-под банта длинным округлым червем косички – и подрагивающим правым коленом. «Ваши милостивые милости, – начало сие жалкое создание, – позавчера превосходнейшим и любезнейшим образом приобрели у меня миниатюрную кисть... Я ручаюсь, что кисть эта, в определенном смысле, совершенно замечательная... и потому прошу выплатить мне то небольшое, чего она стоит, а также – чтобы вы, воспользовавшись такой оказией, еще и что-нибудь мне подарили». – «Вот, возьми!» – сказал Флитте этому смиренному живому символу праздника примирения, этому безмятежному олицетворению протокола об имперском мире: Пурцелю-младшему.

Вечером владелец кофейни Фресс исполнил военную пляску – соединив ее с неким подобием гросфатера. Он пришел, чтобы вежливо дать понять: он, мол, гостям из города обычно каждый вечер приносит счет, чтобы они ознакомились с ним и оплатили его... Тут Вальт впервые увидел, что представляет собой – в чисто визуальном плане – французский (или эльзасский) гнев: это была бешено стремящаяся вперед боевая, ошетилившаяся серповидными мечами колесница – со вздымающимися, обрушивающимися вниз и кромсающими противника на куски... проклятьями, клятвами, взглядами, руками. Требуемые деньги полетели Фрессу под ноги, да даже и в голову, после чего были упакованы вещи – и с проклятиями осуществлен переезд в пустой дом находящегося в отъезде доктора Шляпке. Вальт, своими

мирными проповедями пытавшийся задуть это пламя негодования, добился лишь того, что оно взметнулось еще выше. Только какой-нибудь новый прожитый час – и ничто другое – мог бы обучить Флитте Эпиктетовым добродетелям.

№ 54. Суринамский Эней Живопись. – Вексельное письмо. – Письмо раздора

Светло и легко влетали Оры в многодомный дом доктора Шляпке, и вылетали из него, и приносили мед. Здесь, внутри этого солнечно-светлого острова невинной радости, Вальт не видел никакого учтиво-грубого Фресса – не слышал никакого вымогателя денег или охотника за деньгами, крадущегося по огороженному контрактами лесу, ни одного из кредиторов, которые делятся на пять подвидов (или Книг Моисея) и вечно напоминают нам об истощении жизненных сил и чахотке, – здесь он слышал только песенки и прыжки; здесь наличествовали целые тупички из *нового* Иерусалима. Ибо того, что проникало сюда из *старого* – частично из числа иудеев, частично из христиан, – Вальт слышать не мог, поскольку Флитте позволял своим мышьяковым королям металлов, то бишь кредиторам, отравлять себя только в одном отдаленном художественном уголке. На втором этаже жила воинствующая Церковь: Флитте и короли; на четвертом – торжествующая: Флитте и Вальт.

Между тем нотариус еще не зашел так далеко, чтобы вообще ничего не замечать. «Я бы хотел быть более близоруким, – говорил он себе. – Как подумаешь, насколько радостным и щедрым остается этот добрый человек даже в бедствиях; и что он бы сделался всецело таким, если бы не знал ни малейших мук (ведь некоторые люди становятся добродетельными, когда у них заводятся деньги), и с какой нежностью он всегда говорит о богатстве: то, в самом деле, мне трудно вообразить себе лучший день, чем когда этот бедный шут внезапно увидел бы стоящими в его комнате высоченный ларец с деньгами и денежные мешки. О, как могли бы помочь такому человеку хотя бы проценты с процентов на проценты английского национального долга!» Вальт спросил себя, почему, в то время как у всех горестей бывают каникулы, горести немецкого должника не прерываются никогда, хотя в Англии все же воскресенье – день отдыха для должника; а согласно иудейской религии, даже вокруг проклятых – в субботу, в праздник новолуния и пока длится еженедельная молитва евреев – ад как бы умирает и над этой жаркой бездной веет кроткое прохладное бабье лето погребенной жизни.

Его сердце переполнялось любовью, когда он живописал себе праздник душ, коим надеялся одарить флейтиста с помощью эльзасца, а второго из них – с помощью первого: когда убедит Вальта, что Флитте ведет добропорядочный, либеральный, поэтически-свободный образ жизни, а эльзасцу потом представит этого шпильмана-аристократа. «О, я бы постарался избавить своего славного брата от необходимости осознать и признать, что прежде он заблуждался!» – восторженно восклицал он.

Оба с возрастающей сердечной теплотой вживались в эту неделю и друг в друга: они предпочли бы скорее продлить испытательный срок, нежели завершить его. Флитте казался любящим, теплым существом, окутывающим Вальта, словно наэлектризованный воздух: чем-то новым для него и притягательным; под конец нотариусу уже было трудно выйти без него из дому.

Вальт придавал этому тем большее значение, чем меньше, собственно, как он чувствовал, могли они сказать друг другу; их нервные узлы перепутались, и они, подобно полипам, тесно срослись; однако каждый из них питался на собственный страх и риск, так что ни один не мог стать для другого ни желудком, ни пищей.

Настал последний день испытательной недели, или недели блесков. Вальт страшился всего окончательного, любого резкого финала, даже окончания жалобы. Один рипиенист, игравший вместе с Вальтом в Розенхофе, принес известие о его скором возвращении. Доктор Шляпке тоже должен был ночью вернуться. Так что Вальту предстояло увидеть парочку красивых полуночных зорь. Флитте попросил нотариуса в этот последний день, когда они будут вместе, сопроводить его к Рафаэле, которая должна сегодня недолго позировать для него,

чтобы он написал простой миниатюрный портрет девушки ко дню рождения ее матери. «Мы трое, без посторонних, превосходно проведем время, – прибавил он. – Когда я пишу красками, я обычно мало разговариваю; а ведь речь невероятно оживляет любое лицо». Хотя Вальту показалось не особенно деликатным, что его хотят, как разговорно-возбуждающую машину, поставить перед позирующей барышней, – он все-таки подчинился желанию Флитте. В последнюю неделю он уже привык по нескольку раз на дню удивляться нехватке деликатного образа мыслей – не только на рынке, но и в лучших домах, внешне прекрасно покрашенных и отштукатуренных.

С удовольствием вошел он в собственный дом, как в чужой. Рафаэла улыбнулась им обоим с верхней ступеньки лестницы и поспешно ввела их в свой рабочий кабинет. Здесь уже громоздились разнообразные, но плохо совместимые друг с другом вина, пирожные и мороженое. Правда, поскольку любой женщине легче разгадать сердце мужчины, нежели его желудок, она попросту не знает, что ее гость предпочел бы выпить в четыре часа пополудни. Слуги, один за другим, заглядывали в двери, чтобы подхватить налету очередное желание Рафаэлы и потом вернуть его уже выполненным. Вся прислуга, похоже, расценивала ее правление как золотой век Сатурна; некоторых представительниц женского персонала даже можно было увидеть прогуливающимися по парку. Предвечерний солнечный свет, всё обильнее вливавшийся в комнату, и глянец радости, который идет любому лицу, придавали и самой барышне, и всей ситуации особую привлекательность. Флитте, по сравнению с Рафаэлой, показался не то чтобы воплощением фальши, а скорее пятеричной выжимкой из собственной сущности (на одну пятую галантным, на одну добрым, на одну чувствительным, на одну корыстным и на одну уж не знаю каким), когда она, к восторгу Вальта, попросила: «Не приукрашивайте мое лицо, от этого мало проку; постарайтесь просто, чтобы *ma chère mère* меня узнала». В душу нотариуса тайно закралась тихая радость: от того, что он стоит сейчас как раз под собственной комнатой, одновременно гость и квартиросъемщик в этом доме, и далее, от того, что не испытывает ни малейшего смущения – ведь Флитте для него не чужой, а с *одной* женщиной он как-нибудь да справится, и, наконец, от того, что прекраснейшие ароматы и безмяннейшие предметы мебели украшают здесь каждый уголок. «Разве мог я, крестьянский сын, хотя бы мечтать о таком?» – подумал он.

Флитте между тем достал пластинку слоновой кости и коробочку с красками и объяснил своей модели, что чем непринужденнее и чем в лучшем настроении она будет сидеть перед живописцем, тем удачнее получится ее портрет. Хотя с тем же успехом она могла бы сидеть и на Северном полюсе, а он – оставаться на Южном: задача передать сходство и в этом случае удалась бы ему ровно в такой же мере; поскольку как художник он вообще ничего не умел ухватить, он решил сосредоточиться на ухватывании того, что на ней надето. Она уселась и сделала «позирующее лицо» – как все барышни, когда их живописуют. Маска благородства, которую человек в таких случаях на себя напяливает, это самая холодная из всех гримас, какие он способен извлекать из своего лица, – поэтому художники гораздо реже портретируют самих людей, нежели их бюсты. В девических пансионах такое лицо принято называть «позирующим лицом барышни»; а еще бывает напрягшееся «причесываемое лицо» – жующее «бутербродное», одно из самых широких, – и, наконец, два «бальных»: одно (или «пасмурная сторона») для камеристки и другое («солнечная сторона») – для партнера по танцам. Вальт теперь завелся и разогрелся – чтобы и самому что-то живописать, а не только помогать другому живописцу. Он – достаточно умело – представил выжимки из своего недавнего кругосветного путешествия, мимоходом подмешав к ним замечание, что под водопадом видел подругу Рафаэлы, Вину. Из всех рассказчиков и собеседников самые счастливые и богатые – те, что описывают свои путешествия; в путешествие вокруг $\frac{1}{1\,000\,000}$ части земного шара они способны вместить весь земной шар, и (во-вторых) никто не сможет их утверждения опровергнуть. Нотариусу захотелось еще сильнее проявить свойственную ему силу живописания летних и осенних ландшафтов –

Флитте-то создавал ландшафт зимний, – и он принялся набрасывать золотой, во всю стену, горный пейзаж с двумя розенхофскими вершинами; но Рафаэла, уже исчерпывающе восхитившаяся всем этим, быстро перевела разговор на свою подругу Вину – чтобы далее выпрядать нить беседы самой. Она пламенно восхваляла обаяние и поступки подруги – показала ларчик из красного дерева, где хранит ее письма, – кивнула на так называемый Винин уголок в углу, где та так часто сидела, глядя на заходящее между деревьями парковой аллеи солнце, – при этом ее лицо прямо-таки светилось любовью и теплотой... Нотариус был, можно сказать, не в себе: судя по его неподвижным зрачкам, он шумно ликовал, праздновал вакханалии, упражнялся в *artes semper gaudendi*, участвовал в потешных спорах, причислил себя самого к лику блаженных – и зашел так далеко, что как бы случайно уселся в Ванином уголке...

Веселье было в самом разгаре. Они продолжали пить – каждые четверть часа какой-нибудь слуга распахивал двери, чтобы налету подхватить второе, более позднее распоряжение госпожи. Флитте и сам не понимал, почему ему вдруг привалило такое счастье: что они все так много разговаривают и совсем, черт возьми, не скучают, и что Рафаэла так чудно возбуждена. Случайно Вальт сдвинул в сторону оконную занавеску, и солнце тут же плеснуло своими теплыми чернилами на лицо Рафаэлы, так что той пришлось отвернуться; Флитте вскочил на ноги, показал ей *sbozzo* и спросил: разве портрет не украден – наполовину – из ее прекрасных глаз? «Наполовину? Полностью!» – вскричал Вальт искренне, но простодушно; ибо с тем же успехом барышня могла бы позировать для этого портретика, повернувшись к художнику затылком со стальным гребнем. Эльзасец в ответ подарил ей несколько публичных поцелуев. Он, наверное, сделал это слишком внезапно, слишком мало отдавая себе отчет в том, что и *увиденные* эмоции – как и те, о которых мы *читаем*, – должны иметь, с точки зрения наблюдателя, какую-то мотивировку; Вальт поспешно перевел взгляд в сторону парка и наконец поднялся со своего места.

«Я был бы настоящим сатаной, – думал нотариус, – если бы не дал им возможность помиловаться»; и он под каким-то ландшафтно-живописным предлогом ненадолго ускользнул наверх, в свою комнату. Флитте, как только нотариус прикрыл за собой дверь, от самих прекрасных губок вернулся к живописанию оных и принялся усердно наносить пунктирные линии. «Как же, наверное, эти блаженные, – говорил себе Вальт, уже наверху, – сейчас прижимают друг друга к сердцу, в то время как вечернее солнце роскошно полыхает между ними!» В его собственной комнатке рог изобилия, переполненный вечерними розами, был еще богаче и затоплял большее пространство; и все-таки две жалкие половинки Вальтова жилища (жилая часть и спальная ниша) слишком резко контрастировали с только что оставленной им нарядной гостиной, так что он оценил глубину расселины своего внешнего счастья. Он расслабился и, тоскуя по возможности хотя бы наблюдать любовь, пусть и чужую, хотел уже поспешно спуститься вниз, но тут в комнату вошел Вульт. К братнину сердцу – в само это сердце – полетел Вальт. «Как божественно, – крикнул он, – что ты явился именно сейчас!»

Вульт, вернувшийся в умиротворенном настроении, сперва, как он привык, начал задавать вопросы о чужой истории, собираясь уже после ответить на вопросы о своей. Вальт свободно и радостно рассказал ему о протекании нотариатного срока и об утрате семидесяти древесных стволов. «Плохо лишь то, – невозмутимо заметил Вульт, – что я и сам веду себя как расточитель, презирающий деньги; иначе – ссылаясь на доводы разума, на совесть и на исторические примеры – я показал бы тебе, как сильно и насколько по праву я проклиная свое сходство, в этом плане, с другими: например, с тобой. Презрение к деньгам делает несчастными больше людей, причем людей лучших, нежели переоценка значимости денег; поэтому многих лишают дееспособности *pro prodigo*, но никогда и никого – *pro avaro*. – «Лучше иметь переполненное сердце, чем полный кошелек!» – весело воскликнул Вальт; и тут же заговорил о своем выборе новой должностной обязанности и о прекрасной неделе с Флитте, всячески восхваляя эльзасца. «Как же часто, – закончил он свой рассказ, – мне хотелось, чтобы и

ты поучаствовал в наших тайных окрыленных праздниках: среди прочего и для того, чтобы научиться менее строго судить эльзасца; ты ведь в этом смысле перегибаешь палку, дорогой!»

– Флитте кажется тебе человеком возвышенным? Классическим примером душевности или чем-то в таком роде? А его веселость ты принимаешь за поэтический корабль с парусами и крыльями? – спросил Вульт.

– По правде говоря, – отвечивал Вальт, – я вижу разницу между его прекрасным легкомысленным темпераментом, пасущимся лишь на лугах Настоящего, и поэтическим легким парением над оними: ведь Флитте никогда ничему долго не радуется.

– А на протяжении твоей испытательной недели – которую ты сам очень хорошо выбрал, без посторонних советов, – Флитте не заставлял тебя совершать какие-то сомнительные прыжки, за которые потом придется расплачиваться, например, деревьями? – спросил Вульт.

– Нет, – ответил Вальт, – зато он отучал меня от ошибочных шагов во французском. – На этом нотариус не остановился, а прибегнул к риторическим фигурам речи: мол, разве Флитте не открыл ему тончайшие оттенки языка, к примеру, что никогда не следует – или разве что редко – задавать вопрос *comment*, ибо вежливее просто произнести с вопросительной интонацией *Monsier...* или даже *Madame*? Разве эльзасец не порицал его, спросил далее Вальт, когда он совершенно не по-французски желал кому-то *bon appetite*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.